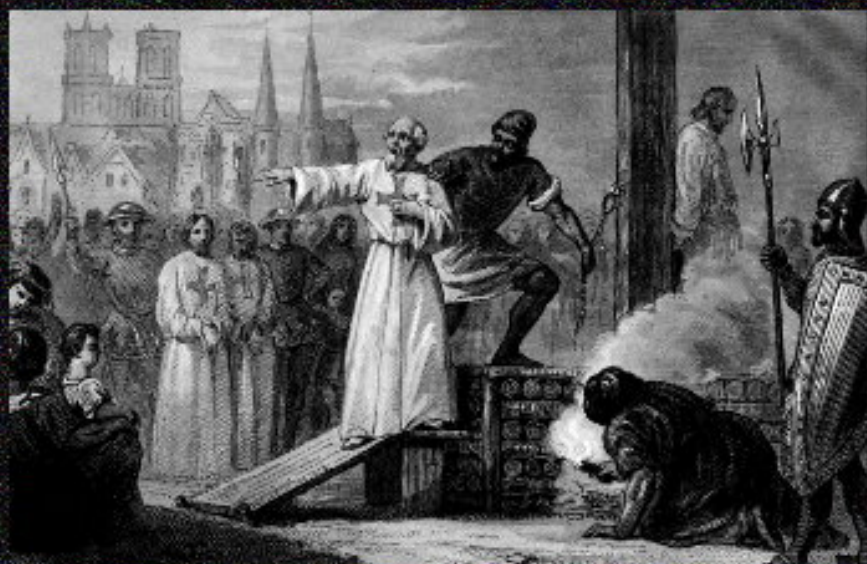


[Polaris]

Георгий Бруц  
(Sagittarius)



У ПРМОПЪКРЫТОЙ  
ДВЕРИ

Оккультные рассказы

**POLARIS**



**ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА**

**CXCV**



**Salamandra P.V.V.**

**ГЕОРГИЙ БРИЦ  
(SAGITTARIUS)**

# **У ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ**

Оккультные  
рассказы

**Salamandra P.V.V.**

## **Бриц Г. Г. (Sagittarius)**

У приоткрытой двери: Окультиные рассказы. Подг. текста и комм. А. Шермана. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 68 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. СХСV).

В книге полностью воспроизведен весьма редкий сборник Г. Брица «У приоткрытой двери: Окультиные рассказы». Операции черной магии, мистические происшествия, тамплиеры и суккубы – всем этим пестрят рассказы сборника, который вышел в свет в 1920-х гг. и с тех пор не переиздавался.

© А. Sherman, комментарии, 2017

© Salamandra P.V.V., подг. текста, оформление, 2017

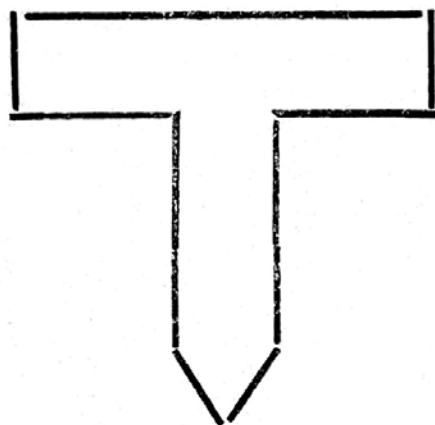
Sagittarius

# У ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ.

Оккультные  
рассказы.

Издание автора  
1925

**У ПРИОТКРЫТОЙ  
ДВЕРИ**



## У ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

На палубе большого океанского парохода, совершавшего рейсы между портами Англии и Японии, сидел в складном кресле пожилой мужчина; сказать вернее, старик. Это был отставной майор индийской армии Реджинальд О'Нэйль.

Пароход только что покинул порт Александрии, где село довольно много пасса- жиров.

О'Нэйль сначала внимательно наблюдал за новоприбывшими, затем, должно быть, не заметив ни одного знакомого лица, взял лежавшую на коленях книгу и углубился в чтение.

Прошло с полчаса. Голова читавшего поникла, книга выскользнула из его рук и сам он, по-видимому, задремал.

Было ли в позе спящего что-нибудь наводившее на мысль о возможности внезапного заболевания или, попросту, уважение к преклонному возрасту сыграло здесь роль, но проходившая мимо, в сопровождении пожилых господина и дамы, миловидная барышня нагнулась, подняла книгу и, взглянув внимательно на спавшего, положила ее около него.

Движение это разбудило последнего; он быстро вскинул глаза, затем вдруг порывисто вскочил и, вместо слов благодарности, из уст его вырвался полуподавленный возглас: — Мэри!

Смущенная и полная изумления девушка, не зная, что сказать, пролепетала: — Даусон; это была ее фамилия.

На лицо О'Нэйля легла тень глубокого разочарования.

Овладев собою, он тотчас же извинился в своем странном поведении и церемонно назвал себя, обращаясь также и к бывшим свидетелями всей сцены родителям барышни.

Так, далеко не по правилам этикета, состоялось знакомство Реджинальда О'Нэйля с семьей Даусон.

Глава последней оказался крупным негодциантом, имевшим контору в Токио.

Во время завязавшегося разговора майор не спускал тревожно-пытливого взгляда с мисс Мэри и, вообще, заметно было, что ему как-то не по себе.

Мы легко поймем причину такого его состояния, если перевернем вспять в книге времени четыре десятка страниц, по 365 строк каждая.

Там отчетливо можно прочесть, как молодой Реджинальд О'Нэйль переживал радости и печали своего первого и единственного романа.

Нет, были одни только радости и только одна, зато неутолимая, печаль — безвременная смерть любимой и любившей.

Как сладостно по днесь звучат для Реджинальда О'Нэйля эти два слова — Мэри Фивершэм!

Милосердное время, все посыпающее пеплом забвения, не смогло вытравить из его сердца воспоминания невозвратимой утраты, а его память заботливо сохранила черты, весь облик дорогой отошедшей.

И вот теперь, сегодня, ровно сорок лет спустя, на закате своих дней О'Нэйль встретил ту, которая ведь не могла быть «той».

Все как у «той» до совершенного тожества, и никакая сила в мире не заставит О'Нэйля признать, что он ошибся.

Ему ли не заметить повторенности черт дорогого лица, ему ли не вздрогнуть при звуке этого нежного,

столь знакомого голоса и не воскликнуть трепетно — о, Мэри, это ты!

Но, Боже правый, ведь Мэри Даусон, не Мэри Фивершэм!

Преисполненный таких мыслей, О'Нэйль спустился в свою каюту.

Еще будучи в Индии, он неоднократно сталкивался с доктриной о реинкарнации — перевоплощении и она постоянно его интересовала.

Так не должен ли он считать, что на его глазах состоялось второе пришествие в этот мир и в прежней телесной оболочке его Мэри?

Мисс Даусон было на вид лет восемнадцать и простой подсчет показывал теоретическую возможность такого предположения; Мэри Фивершэм, спустя 22 года после смерти, могла родиться в семье Даусон и имела бы теперь как раз восемнадцать лет.

Мысли О'Нэйля приняли другое направление. Ведь бывают же необычайные сходства и, быть может, как раз такой случай имеет место теперь.

Но все в нем возмущалось против этого предположения.

Внезапно его осенила новая мысль.

Старый тюфяк! Ведь он, в сущности, еще ничего не сделал, чтобы убедиться, какая Мэри перед ним.

Возбужденный, он вышел на палубу и стал прогуливаться, очевидно, придумывая план действий.

Встреча с Даусонами состоялась за табль-д'отом. Когда обед кончился, О'Нэйль обратился к мистеру Даусону с предложением сыграть партию в шахматы.

Тот охотно согласился, прибавив, что и его дочь также недурная шахматистка.

Началась игра; мисс Мэри, стоя за спиной отца, внимательно следила за ходом партии.

О'Нэйль был незаурядным игроком и, надо полагать, без труда победил бы весьма посредственно игравшего Даусона.

Но не выигрыш его интересовал.

Он искусно маневрировал с таким расчетом, чтобы, не давая поводов заподозрить истинное намерение, поставить свою королеву в безвыходное положение. К большому удовольствию увлеченного благоприятным для него развитием партии Даусона, майор достиг желаемого.

В это время раздался голос Мэри:

— Ваше положение было бы все же прочным, но вы рискуете потерять королеву, вернее, вы уже ее потеряли, мистер О'Нэйль.

Это тихо произнесенное замечание прозвучало для Реджинальда О'Нэйля как громовой раскат.

Он с изумительной для его лет легкостью вскочил с места; все его поведение изобличало крайнюю степень возбуждения, а в устремленных на девушку глазах, расширенных и блистающих как звезды, сияла безграничная радость.

Вдруг О'Нэйль слегка вскрикнул, покачнулся и, вовремя подхваченный Даусоном и Мэри, без чувств, мертвенно бледный упал в кресло.

Очнулся он в своей каюте, окруженный Даусонами и корабельным врачом.

Ему стало ясно, что с ним случился обморок.

Восстановив быстро все в памяти, он произнес несколько извинительных слов; затем, обращаясь исключительно к мисс Даусон, он тихо уронил:

— Однако, я бесконечно счастлив, что все это произошло.

В вопрошающих глазах О'Нэйля светилась при этом неизъяснимая нежность.

На лице девушки отразилось недоумение, мгновенно, однако, подавленное и она ответила какой-то общей фразой, как отвечают больному, еще не вполне пришедшему в себя.

И больше ничего, и больше ничего, ни малейшего признака взаимного понимания!

Великое разочарование охватило О'Нэйля.

Устало поблагодарив присутствующих, он попросил оставить его одного.

Да, он получил веское доказательство; большее, чем мог ожидать.

Разве смел он надеяться, допуская тожество Мэри Даусон и Мэри Фивершэм, что обязательно повторится сцена, происшедшая сорок лет тому назад и будут произнесены — точка в точку те же слова, когда на шахматной доске обозначится угроза королеве.

Все повторилось! Чего же больше?!

Увы! Прошлое воплотилось, но без осознанной памяти о своем содержании.

Только что происшедшее в каюте было тому доказательством.

Да, обе Мэри одно и то же. Те же физические данные, тот же ритм отзвуков на все совершающееся; но Мэри прошедшего и Мэри настоящего, по крайней мере здесь на земле, себя не знают, не помнят.

Следующий день принес дальнейшие подтверждения печальной истины.

Выяснилось также, что в странном поведении О'Нэйля были усмотрены признаки ненормальности.

Какой конец знаменательнейшей из встреч его жизни!

Тяжелое потрясение пережил Реджинальд О'Нэйль. Но это был мужественный человек; уравновесив себя насколько хватило сил, он принял окончательное решение.

Длитель муку такого общения с «его» и не «его» Мэри он более не считал возможным.

В ближайшем же порту О'Нэйль сошел на берег.

Прощаясь с семьей Даусон, он, однако, обратился с просьбой к мисс Мэри писать к нему раз в год, сообщая, хотя бы наиболее кратко, о важнейших событиях ее жизни.

Как ни неуместной казалась эта просьба, но она была так трогательно, с упоминанием вскользь о необычайном сходстве, изложена, что обещание было дано.

Положение смягчалось, очевидно, почтенным возрастом О'Нэйля.

Расставаясь, чета Даусон пригласила майора проводить их при случае в Токио.

Но ни переписка, ни посещение никогда не состоялись.

В числе жертв недавнего грандиозного землетрясения в Токио оказалась и семья Даусон.

Таким образом, Реджинальду О'Нэйлю, во исполнение каких-то таинственных предначертаний, а, быть может, за его безграничную верность памяти возлюбленной, дано было видеть ее дважды юной — тогда и теперь, сорок лет спустя.

Он смог заглянуть в просвет, лишь на короткое время, приоткрытой двери.

## ПОД ЗНАКОМ 18-ТИ

Арчибальд!

$$18 = 2 + 16 \text{ и}$$

$$18 = 16 + 2$$

запомни это.

Вильям.

Такое необычайное воззвание появилось однажды, на видном месте, в рубрике объявлений одного из лондонских еженедельников.

Оно было повторено там же через неделю с прибавлением фразы: «Нога твоя едва ли поправится».

Читатели еженедельника недоумевали; нашлись среди них и такие, которые сочли помещение подобных анонсов неуместным для серьезного журнала.

Случай этот не замедлил бы забыться, если бы в очередном номере еженедельника не появился отклик таинственного Арчибальда на два обращения к нему столь же замаскированного Вильяма.

Отклик этот обнаружил, что за странной перепиской скрывалось нечто, имевшее отображение в действительной жизни; в нем заключалось обещание дать исчерпывающий ответ через неделю.

Очень многие стали ждать с возродившимся интересом выхода следующего номера еженедельника,

хотя у иных и возникало предположение, что, быть может, это всего лишь один из приемов рекламы.

Ответ Арчибальда появился своевременно, но не удовлетворил никого.

Смысл странной по форме и содержанию переписки остался по-прежнему неразъясненным; отпало лишь предположение о рекламе.

Вот что ответил Арчибальд.

Вильям!

Я наказан.

Но  $18 = 4 + 14$  также; в этом  
мое оправдание.

Тем не менее, я не желаю с тобой  
встречаться.

Прощай.

Арчибальд.

Так представлялось дело с внешней стороны.

Чтобы дать себе отчет, что же именно произошло, нам придется сделать экскурсию в прошлое, к тем временам, когда Арчибальд Гаукинс и Вильям Блессиг были значительно моложе, встречались часто и почитали себя взаимно друзьями.

Их первое знакомство совпало с тем периодом, когда печатная пропаганда оккультизма, предпринятая преимущественно французскими последователями Розенкрейцерства, стала приносить свои плоды.

Оба молодые люди оказались в числе пилигримов к храму Изида, но каждый на свой манер.

Гаукинса увлекали перспективы реализационной власти, приобретаемой адептом; Блессиг, наоборот, пылко устремился к величавым обобщениям эзотерической традиции.

В юные годы легко сближаются и молодые люди вскоре подружились.

Прошло несколько лет.

Вдруг, совершенно неожиданно, упало между ними яблоко раздора — румяное и нежное, носившее поэтическое имя Мьюриэль.

Цветы дружбы стали вянуть и наконец осыпались в тот момент, когда на формальное со стороны Гаукинса предложение руки и сердца упомянутая Мьюриэль ответила отказом, пояснив, что вот уже несколько дней, как она невеста Вильяма Блессига.

Ответ этот сопровождался скольльзящим взглядом по невзрачной фигуре отвергнутого влюбленного.

Прошли года, но Гаукинс не забыл этого взгляда, не забыл и того, что особого внимания удостоились его необычайно нескладные ноги.

Бывшие друзья перестали встречаться.

Гаукинс не возненавидел Блессига, но сохранил навсегда по отношению к нему неприязненное чувство, укоренившееся глубоко.

Навязчивые мысли, равно прочно засевшие чувства имеют гораздо более, чем принято думать, шансов воплотиться, облечься в реальные формы.

Случилось так, что Гаукинс, по-прежнему преданный оккультизму, задумал произвести опыт одного из магических воздействий — опыт энвольтования.

Легко догадаться, что при подыскании объекта для эксперимента выплыла и утвердилась неизбежно кандидатура Блессига — того хотело прошлое.

Не будем чрезмерно осуждать Гаукинса; замысел его не был так черен, как это может показаться с первого взгляда.

Он не задался целью изжить со света бывшего своего друга или привить ему что-нибудь слишком мучительное; нет, всего лишь только одна из ног Блессига должна была быть слегка уязвлена.

Гаукинсу доставало чего-нибудь от особы Блессига, чего-нибудь, что бы способствовало установлению магической связи между оператором и личностью энвольтуемого.

Случай, этот покровитель добрых и злых, пришел к нему на помощь.

Бывшие друзья встретились в парикмахерской.

Блессиг сидел в кресле — его стригли, а Гаукинсу, только что вошедшему, пришлось ждать очереди.

Они вежливо, но сухо поздоровались.

Затем произошло следующее. Гаукинс, стоявший около кресла Блессига, уронил платок, нагнулся, поднял его и поспешно спрятал в карман; но можно было видеть и это заметил Блессиг, что в платке была зажата прядь его, Блессига, волос; он не придал этому значения, счел простой случайностью; кроме того, он не желал вступать в беседу с Гаукинсом.

Однако Блессиг ошибся; здесь не было места случайности.

Дабы удостовериться в этом, двинемся за Гаукинсом в его квартиру, минуем ее официальную часть и проникнем вместе с ним в ту из комнат, куда он никого не впускал. Обстановка этой последней, на первый взгляд, напоминала несколько лабораторию.

На двух больших столах стояло изрядное количество склянок, наполненных и пустых, виднелись колбы, реторты. На стенах, вперемишку с пучками сухих растений и всякой всячиной, развешаны были симво-

личные рисунки, чертежи, различные пантакли. В простенке двух окон висела полка с некоторым количеством книг, посвященных исключительно магии; это были, главным образом, так называемые гримуары — сборники магических рецептов, формул и указаний по церемониальной магии. Немного мебели, перегонный куб, массивный серебряный семисвечник, курительница и стоявшая в одном из углов магическая шпага дополняли убранство комнаты.

Здесь Гаукинс был у себя, для себя и самим собою.

Войдя в комнату, он прежде, всего переоделся в домашнее платье, затем вынул из шкафчика небольшую восковую фигурку и стал ее внимательно сравнивать с фотографией какого-то мужчины; нечего и говорить, что это была фотография Вильяма Блессига.

Потом Гаукинс зажег спиртовку, подогрел несколько голову фигурки и тщательно, волос за волосом, приклеил к ней прядь с головы Блессига, похищенную в парикмахерской.

Покончив с этой работой, оператор впал в некоторое раздумье; ясно было, что он становился на путь черной магии, становился в первый раз.

Но раздумье миновало, решение было принято окончательно.

Восковой кукле суждено было сделать свое дело — послужить мостом от активного в волевом отношении Гаукинса к предполагавшемуся пассивным Блессигу.

Однако Гаукинс все как-то медлил с доведением вольты до конца.

А между тем, случилось то, чего он совершенно не предполагал. Непрерывно посылаемый им по направлению к Блессигу инфлюкс, хотя и слабого еще напряжения, все же достиг последнего.

Надо заметить, что теоретические занятия Блессига в области оккультизма, сопровождавшиеся постоян-

но медитацией, отразились благоприятно на развитии его духовных сил; поле зрения его значительно расширилось, возросла также и его природная чувствительность.

Почувствовав однажды, что какие-то токи извне ударяют в него, Блессиг смог отчасти прозреть приготовления к направляемому на него вольту и уяснить себе также, что это дело рук Гаукинса.

Припомнилась ему и сцена с волосами в парикмахерской.

Взвесив все это, он, уже не задумываясь, послал предостережение Гаукинсу своим первым объявлением в еженедельнике; непосредственное обращение к Гаукинсу он справедливо счел за нецелесообразное.

Когда на глаза Гаукинса, постоянно читавшего этот еженедельник, попало упомянутое объявление, он пережил неприятные минуты.

Хотя ему и неизвестно было арифмологическое значение помещенных там формул, но он почти не сомневался, что объявление было обращено к нему и имело связь с предпринятой им магической операцией.

Взволнованный, он решил поспешить с завершением вольты.

Вольт состоялся, но насторожившейся, более мощный притом психически, занятый, кроме того, серьезно в высшей, нежели Гаукинс, области достижений, Блессиг легко — почти автоматически — парировал вольт.

Согласно почитающемуся непреложным в магии закону, вольт, не воспринятый тем, на кого он был направлен и не переназначенный предусмотрительно на какой-нибудь третий объект, обратился на самого оператора и Гаукинс стал жертвой так называемого «возвратного удара»; постоянный спазм, затвердение

в икре ноги, которым он хотел наградить Блессига, передалось ему самому.

Неудачливый маг был добит окончательно, когда следующий номер еженедельника принес ему подтверждение, что еще раз в жизни он был побежден тем же соперником.

Однако энергичная натура Гаукинса не позволила ему долго сидеть сложа руки, а уязвленное самолюбие продиктовало обещание дать ответ Блессигу; обещание, о котором уже упоминалось.

Следующим делом Гаукинса была расшифровка того, что скрывалось под цифрами, фигурировавшими в объявлениях Блессига.

Ему удалось, наконец, в одном специальном сочинении найти ключ.

Тогда он понял, что уравнением  $18 = 2 + 16$  Блессиг напоминал, что ему ясен замысел Гаукинса, а формула вторая как бы предостерегала, что оружие обоюдоостро.

Гаукинс нашел некоторое утешение в возможности такого разложения 18-ти, при котором опасность в физическом плане (18) делается необходимой ввиду значения слагаемых ( $4 + 14$ ); об этом он и сообщил Блессигу в своем отклике.

Эта парфянская стрела (Гаукинс вскоре ликвидировал свои дела и покинул Европу) должна была свидетельствовать, что его Гаукинса, зловольность по отношению к Блессигу находит некоторое оправдание в конструкции миропорядка.

Несвижский поправлялся от уложившей его на долгое время в постель болезни.

Почти всем знакомо это особенное состояние, когда организм, победивший недуг, ежеминутно крепнет, а больной, еще не настолько оправившийся, чтобы встать с постели, неторопливо ожидает окончательного восстановления сил.

В такие дни вынужденного бездействия особенно ясно и отчетливо работает мозг. Остающийся наедине с самим собою, человек получает лучшие условия для самооценки, а размышления никогда не бывают так плодотворны, как в эти периоды, когда мысли текут плавно, не возмущаемы событиями повседневной жизни.

Несвижский вот уж третий день делал такой смотр самому себе.

Это перелистывание книги своего прошлого немало его расстроило. В балансе явно перевешивал минус.

Пушай он довольно известный поэт, весьма изысканный, но, что греха таить, лишь в меру глубокий; и это единственное, на что он смог с некоторым удовлетворением опереться и оно — это чувствовалось — не гарантировало его от сомнений в ценности пройденного им уже сорокалетнего пути.

А остальная его деятельность? Что же она представляла собою?

На первом плане было постоянное стремление впитать в себя возможно более впечатлений их калейдоскопа жизни; затем была достаточно живая, однако в границах дилетантства, заинтересованность достиже-

ниями человеческого ума и, наконец, была забота о сохранении известного уровня материального благосостояния.

Несвижский хорошо сознавал, что все это, вместе взятое, составляло багаж весьма лишь посредственной ценности.

Назаметно в нем родилась и окрепла потребность набросать план своей будущей деятельности, более содержательной, более ценной безотносительно, которая бы удовлетворяла всесторонне.

Тяжелая болезнь, принудившая Несвижского совершить утомительную прогулку к вратам смерти, принесла неожиданно благой результат. До сих пор лишь обитатель храма жизни, он восхотел стать одним из его строителей.

Но трудность перекинуть мост от пассивного, с точки зрения высшей, прошлого к созидательному будущему была очевидной.

Все это сильно взволновало и, в известной степени, расстроило Несвижского; его самочувствие значительно ухудшилось и к вечеру этого важного дня его жизни он вынужден был послать за доктором.

Прислуга, отправившаяся за постоянно пользовавшимся Несвижского врачом, не застала последнего дома.

Пока она раздумывала, стоя на лестнице, как быть, к ней подошел пожилой, хорошо одетый мужчина, который, как бы зная в чем дело, назвал себя врачом и выразил готовность пойти к больному.

Незнакомец всем своим видом внушал полное доверие и его предложение показалось простодушной девушке вполне естественным и уместным.

Войдя в комнату больного, незнакомый доктор присел на кровати, возложил руки на голову Несвижского и тихо произнес:

— Я пришел к вам заменить отсутствующего коллегу; мы лечим разными способами, но не тревожьтесь, и я — неплохой врач.

Ровный, мягкий, полный внутреннего убеждения голос незнакомца действовал необычайно успокаивающе, а его руки как бы впитывали в себя жар слегка разгоряченного Несвижского.

Несвижский вкратце сообщил прибывшему о том, что почувствовал себя хуже сравнительно недавно, после того, как несколько расстроился, призадумавшись о разных делах; благодаря далее за посещение, он просил оставить рецепт чего-нибудь успокоительного, а также, на всякий случай, адрес.

Доктор дал Несвижскому договорить до конца, затем опять полилась его спокойная речь.

Содержание ее, однако, было столь необычно, так глубоко проникало в суть переживаний и сомнений Несвижского, что он приподнялся на постели и слушал потрясенный, вперив полные изумления глаза в бесстрастные черты говорившего.

Вот кое что из того, что говорил странный доктор.

— Ваша жизнь по сегодняшний день, которую вы осудили, не напрасно однако протекла.

Вы много накопили, беря из общего резервуара человечества. Но брать для себя позволительно лишь до известного предела и здесь кроется причина той внутренней тревоги, которая вас охватила; приветствуйте ее, она спасительна.

Вы теперь уже не рветесь окунуться в широкий поток жизни, не квалифицируя ее явлений; в вас, наоборот, определилось стремление сознательно идти сквозь строй ее.

Из дремотного состояния вы переходите к бодрствованию и я пришел присутствовать при вашем пробуждении.

Вы ищете пути? Их много и для многих разные; бесполезно, однако, указывать тот или иной, нужно искать, чтобы найти.

Вы просили у меня успокоительного средства — его я вам могу дать.

Таинственный доктор быстро отвел свои, покоившиеся на голове Несвижского, руки, как бы что-то стряхнул в сторону с кончиков пальцев, затем вынул из кармана блокнот, сделал на нем какую то пометку и подал его вместе с карандашом Несвижскому.

Последний, как завороченный пристальным взглядом доктора, повиновался.

Через несколько минут он вырвал исписанный им листок из блокнота и вручил его доктору.

Тот прочел вслух написанное. Прочел мастерски, так что каждое слово этого стихотворения врезалось в память Несвижского навсегда.

Вот его текст:

Да будет Храм!  
Пушай вокруг платаны древней рощи зеленеют.  
Да будет Храм  
Из тех развалин, что в пыли веков белеют.  
В нем жизнь забьет ключом,  
К нему прибудут толпы пилигримов.  
Храм этот будет осенен  
Крылами сонма Серафимов.

---

О, здесь нужен напев однозвучный,  
Вполне монотонный,  
Столько раз, столько раз, что не счесть  
До забвенья себя повторенный.

Окончив чтение, доктор продолжал голосом, в котором явно звучали торжественные ноты:

— Смотрите, в первой части ваши, пожалуй, еще не вполне оформленные желания. Этот Храм существует извечно, но в вас, как и в миллионах вам подобных, он лежит в развалинах.

Стройте же!

Вы жаждете покоя. Путь к нему указан во второй части написанного вами.

Вам нужен мой адрес. Не заботьтесь о нем; ваш не-напрасный зов всегда будет услышан.

Как и когда ушел этот необыкновенный доктор, Несвижский не помнит.

Он погрузился в глубокий сон. Утро застало его бодрым и свежим, каким он давно уже не был.

Припоминая события вчерашнего вечера, он готов был усомниться в их действительности.

Но лежавший на ночном столике, листок блокнота, не его, Несвижского, а чужого блокнота, записанный стихами, рассеял сомнения.

Последняя их тень исчезла, когда, читая это свое новое, столь непохожее на предыдущие, стихотворение Несвижский на месте заголовка увидел поставленные чужой рукой две буквы:

Рр.

## ПОРТРЕТ ХУАННИТЫ ПАЛЯФОКС

Хорошо сложенный блондин, с привлекательными чертами лица и с решительным взглядом серо-голубых глаз, Олаф Нильсен представлял собою отличный тип скандинава.

Он неизменно нравился женщинам, однако алые розы любви лишь чуть-чуть царапнули его своими шипами. Немного легких увлечений в первый период возмужалости, затем кратковременное отклонение в сторону неприкровенного удовлетворения запросов плоти, и к тридцати годам жизни Олаф Нильсен счел себя забронированным от радостей и невзгод, ниспосылаемых шаловливым Амуром.

Обладая хорошим состоянием, свободный от стеснительных родственных связей, он дал волю своей наклонности к путешествиям.

Справедливость требует отметить, что это не был шаблонный туризм — перебрасывание себя из одного наиболее посещаемого места в другое. Нильсен путешествовал толково; а в приобретаемом увеличении умственного багажа он находил оправдание своего беспечального, нетрудового время препровождения.

Оставим открытым вопрос, насколько прав был он, рассуждая подобным образом, и поспешим за Олафом Нильсеном туда, где ему суждено было прочесть незабываемую главу из книги его жизни и расстаться с удобной позицией равнодушно-любопытствующего наблюдателя.

Мы застаем Нильсена в тот момент, когда он, заканчивая свои странствия по Европе, шагает с мешком туриста за плечами по одной из дорог, пролегающих

по равнине Валенсии.

Он не брезговал этим способом передвижения, как лучше всего позволяющим заглянуть в внутреннюю жизнь посещаемой страны.

Вечерело и Нильсен спешил добраться засветло до заранее намеченного селения, где, как ему указали, было нечто вроде гостиницы.

Достигнув цели и переговорив с хозяином, он получил в свое распоряжение комнату и весьма скудный ужин.

За это время торопливая южная ночь уже успела набросить на все свое густое покрывало.

Прежде, чем лечь в постель, Нильсен, по установившейся у него привычке, совершил обход своего помещения. Это была обширная, почти лишенная мебели комната; единственным украшением выбеленных известью стен был какой-то женский портрет. В первую минуту Нильсен не обратил на него внимания; но когда он, несколько время спустя, уже лежа в постели, курил, регистрируя мысленно впечатления дня, свою последнюю перед сном папиросу — свет зажженной им спички упал непосредственно на портрет и Нильсен с изумлением убедился, что перед ним незаурядное произведение искусства.

Зажегши свечу, он провел добрых четверть часа перед портретом.

Это была по типу и по костюму несомненно испанка.

Мастерство художника проявилось особенно в придании глазам необычайной живости.

Одаренный художественным чутьем и сам недурной художник, Нильсен крайне заинтересовался портретом.

Посидев несколько у открытого окна, в которое вливался легкий аромат валенсианской ночи, Нильсен

вернулся в постель, но, несмотря на усталость, вызванную продолжительной ходьбой, он заснул не скоро; его как бы заморозили эти чудесные, блистающие негой желания глаза портрета.

Мысли его приняли необычное направление и им овладело неприятное чувство нарушенного душевного равновесия.

Когда на следующее утро Нильсен рассмотрел портрет более детально, впечатление оказалось несколько бледнее вчерашнего.

Сырость и мухи сделали свое дело, а времени для них было более чем достаточно, так как, по всем признакам, портрет был написан давно.

Нильсен любопытствовал, нет ли подписи; вместо таковой оказалась две буквы — О. Н.; это совпадение с его собственными инициалами прибавило звено к интересу, который возбудил в нем портрет.

Позвав для расчета хозяина гостиницы, Нильсен, между прочим, спросил кого изображает портрет.

— Мне говорили, сударь, что это Хуаннита, Хуаннита Паляфокс, но так ли это, я доподлинно не знаю.

Вот все, что мог добиться Нильсен от прозаического трактирщика.

Ближайшей целью Нильсена было посещение Сагунта. Именно здесь впервые ярко вспыхнули искры пожара, охватившего беспечного до сих пор туриста.

Непонятным образом, впечатление виденного в сельской гостинице портрета выросло в потребность видеть его еще, более того, иметь при себе.

С большой лишь натяжкой смог гордившийся своей невозмутимостью Нильсен объяснить странную потребность степенью художественного впечатления, произведенного портретом.

Чтобы покончить с непривычным состоянием духа, он решил приобрести портрет.

Не раздумывая более, он нанял повозку и через некоторое время уже вел переговоры о покупке с владельцем портрета.

Совершенно не ожидая того, Нильсен наткнулся на препятствие.

Хозяин гостиницы, несмотря на предложение довольно крупной суммы, отказывался продать портрет.

Его рассуждения были малоубедительны, но решение твердо. Картина, мол, много лет висит на месте, она досталась еще прадеду и тому подобное. Словом, дело не ладилось,

Тогда Нильсен нашел другой исход. В его багаже туриста-художника находилось все необходимое и он решил скопировать портрет.

Наняв комнату на неделю и заплатив, в угоду трактирщику, деньги вперед, он принялся за дело.

Обычно Нильсен работал медленно, но на этот раз, к некоторому его изумлению, работа спорилась необычайно; краски ложились уверенно, портрет, до мелочей схожий со всеми оттенками оригинала, но более живой, был готов в три дня.

Когда пришедший проводить уезжавшего Нильсена хозяин гостиницы увидел копию, он не мог удержаться от удивленного восклицания.

Нильсен, и довольный и как то расстроенный всей этой историей с портретом, поспешил, не вдаваясь в разговоры, распрощаться.

Следующим пунктом в маршруте Нильсена была Сарагосса.

Этот, и поныне горделиво выглядящий город, произвел на него особенное впечатление; ему все время казалось, что он бродит по знакомым местам и его не покидало чувство чего-то уже пережитого в стенах старого города.

Кстати сказать, теперь это был уже несколько иной Олаф Нильсен; впечатлительность и чуткость к совершающемуся и к запечатленному в мировой картине незаметно пришли на смену прежнему равнодушно-му созерцанию жизни и ее явлений.

К тому же занявший уже видное место в переживаниях Нильсена портрет Хуанниты Паляфокс заявлял о себе в Сарагоссе настойчивее, чем в предшествующие дни.

Манящие, греховные глаза портрета не давали Нильсену покоя в течении всего дня и, фантазируя вечером перед роковым для него изображением красавицы, он впал в состояние, когда эротические образы положительно заполонили его воображение.

Наступила первая ночь, проведенная Нильсеном в Сарагоссе; ночь воплощения; ночь сбывшейся мечты.

Нильсен не смог бы с уверенностью сказать, была ли это сонная греза или подлинная действительность, так фантастично, но вместе с тем так реально было все происшедшее.

Хуаннита Паляфокс, во плоти и крови, провела с ним, в его постели, эту ночь, полную страстных наслаждений.

Ея явление, вернее, материализация находилась в прямой связи с портретом.

Нильсен помнит, как освещенный бледными лучами луны портрет стал как бы тускнеть, расплываться, но вместе с тем, казалось, он начал фосфоресцировать; излучения увеличивались, сгущались и вскоре приняли форму столба, закрывшего совершенно портрет.

В комнате повеяло холодом. Прошло еще несколько времени и пораженный Нильсен увидел в непрестанно изменявшихся очертаниях явления контуры женского тела; еще немного, и он различил в лице призрака черты Хуанниты.

Потрясенный до крайности, он не имел времени даже вскрикнуть, как ощутил на себе прикосновение нагого женского тела; гибкие руки обхватили его со всем пылом страсти; нежные, несколько холодные губы впились жадным поцелуем в его уста.

Да, это была Хуаннита — такая, какой он ее себе представлял в своих мечтах.

Подхваченный, унесенный потоком страсти в ее величайшем напряжении, Нильсен позабыл обо всем и не помнит как миновала ночь.

Он проснулся поздним утром, утомленный безмерно, разбитый физически и нравственно.

Взглянув первым делом на портрет, он увидел его на прежнем месте неизменным; казалось только, он стал еще свежее, жизненнее.

Прошел день, а вечер принес жажду повторения знойных безумств минувшей ночи.

К тому же Нильсен, отуманенный всем происшедшим, искал подтверждения, что все это не было попросту эротическим сном, протекшим лишь необычайно реально.

Она спустилась над землей, эта вторая ночь Олафа Нильсена в Сарагоссе, и была для него повторением первой; только ласки его нездешней любовницы были вдвое жарче; ее страстность дарила порою уже не наслаждение, а становилась мучительной; поцелуи жгли и горели как укусы.

Когда, на следующий день, с трудом встав с постели, Нильсен тревожно рассматривал себя в зеркало, он ужаснулся происшедшей в нем перемене.

Здоровый загар его лица исчез бесследно, его заменила зловещая бледность, а бескровные и слегка припухшие губы припомнили ему эти как бы пьющие кровь поцелуи.

Сев в кресло, он глубоко задумался.

Перед его мысленным взором прошли все моменты неразъяснимой, с точки зрения общепринятой логики вещей, загадки — этой таинственной связи его, Олафа Нильсена, с портретом Хуанниты Паляфокс, теперь точнее уже с нею самой, ибо он более не сомневался, что портрет оживал.

Он встал и подошел к нему. Прелестное лицо нежно ему улыбалось и только глаза, сияющие и влажные, звали повелительно к наслаждению.

С остатками былой мужественной решительности Нильсен снял портрет с мольберта и уложил его среди дорожных вещей; затем позвонил, уплатил по счету и отправился на вокзал ждать первого отходящего поезда.

Он смутно сознавал, что отъезд из Сарагоссы, перемена места, могут сыграть значительную роль в ходе захвативших его событий.

Затем, наметив себе Биарриц, Нильсен полагал, что в шумной атмосфере этого скорее международного, чем французского курорта он сможет рассеяться и хотя сколько-нибудь освободиться от опасных чар портрета; уничтожить его у Нильсена не хватало силы.

Пробыв несколько дней в Биаррице и не тревожимый умышленно нераспакованным портретом, Нильсен стал приобретать уверенность, что фантастические события, имевшие место в Сарагоссе, более не повторятся.

Между прочим, теперь они казались ему менее реальными и, быть может, с течением времени он бы окончательно отнес их к разряду исключительно пластических сновидений.

Но еще раз он пережил нечто подобное и не менее осязательно, чем в Сарагоссе.

В одну из последующих ночей, когда Нильсен, возможно, несколько больше думал с вечера о портрете,

о Хуанните, он был разбужен ее бурной лаской.

Поддавшись в первую минуту чувственному порыву, Нильсен, однако, вскоре сумел возбудить в себе желание освободиться от этих объятий, уже более мучительных, чем желанных; ему помогло воспоминание идущего вслед за ними разрушения в организме. Когда, затем, преисполненный сверх того сознанием ужаса, которым веяло от этих сношений, он вскочил совершенно отрезвленный на постели — Хуаннита исчезла.

Нильсен зажег электричество, оделся и вышел из отеля.

Эта ночная прогулка под небом, усеянным звездами, вблизи тихо набрасывавшего на берег волну за волной океана, внесла много нового, освежающего в ход мыслей Нильсена.

В нем созрело решение порвать наиболее реальное звено цепи, связывавшей его с Хуаннитой — сжечь портрет. Этою дорогою для него ценой Нильсен хотел купить освобождение от губительных и сверхъестественных ласк своей пришедшей из мрака времен возлюбленной.

Вернувшись утром в отель, он, к немалому изумлению администрации последнего, потребовал, чтобы растопили камин в его номере.

Когда приказание было исполнено, Нильсен, взглянув только раз на эти роковые и незабвенные для него черты, бросил портрет в огонь.

Чувство острой боли владело им до того последнего момента, пока от портрета остался один пепел; и не скоро вернулось к Нильсену его бывшее спокойствие, а меланхолическое настроение сопровождало его отныне неизменно.

Третья материализация Хуанниты Паляфокс (хотя, пожалуй, правильнее было бы говорить о смешанном

процессе материализации и образования лярвической сущности), происшедшая в Биаррице, была последней.

Как ни избегал этого Нильсен, но очень часто мысли его возвращались к тем памятным дням.

Значительно позже, много лет спустя, упорядочивая свой семейный архив, Нильсен наткнулся на несколько документов, свидетельствовавших, что его предок, также Олаф Нильсен, был в корпусе маршала Ланна при осаде и взятии наполеоновскими войсками Сарагоссы, которую мужественно защищал один из героических людей Испании, носивший фамилию Паляфокс.

То, что будет рассказано ниже, покажется невероятным очень многим.

Я братски приветствую тех, которые отнесутся с доверием к моим словам; приветствую встречающих на общем пути, пролегающем всюду, придорожные пейзажи которого полны чудес, преобразующихся в явления для могущих видеть ясно.

Известный ученый, постоянный сотрудник одной из мировых обсерваторий, читал при большом стечении публики лекцию.

Мастерское изложение мыслей, умение держать внимание слушателей на постоянно высоком уровне делали честь лектору, тем более что при всей возвышенности предмета тема не была лишена сухости.

Кроме того, нелегко в аудитории, на три четверти состоящей из людей, в сущности довольно далеких от подлинного интереса к завоеваниям астрономии, достигнуть неослабевающего до конца общего внимания.

В этом направлении большую роль сыграла необыкновенная и удивительная в рамках астрономической темы задушевность и проникновенность лектора; всеми чувствовалось, что говорит нелицеприятный слуга науки, человек, гревшийся у Прометеева костра.

Коснувшись различных вопросов, преимущественно из области астрофизики, лектор остальную часть изложения посвятил находящейся в созвездии Кита одной из самых замечательных звезд неба, названной «Mira» — чудесная.

Ее наблюдают уже более трехсот лет, но загадочность изменений, которым она подвержена, не умень-

шилаь.

Примечательно резкое изменение света этой звезды.

Она бывает 2-ой, 3-ей и 4-ой величины. В пору своего наибольшего блеска она светит в десять тысяч раз ярче, чем в пору наименьшего.

Периоды изменений ее яркости несколько менее года и не отличаются строгим постоянством; сверх того, периодичность крайних пределов яркости, разделенных большими промежутками времени, усложнена, так как наблюдаются еще и частные *maximum*'ы и *minimum*'ы.

Но, пожалуй, довольно этих сведений.

Для нас только в небольшой степени важно, как ведет себя эта звезда.

Лекция окончилась. Слушатели и лектор разошлись по домам.

Окончился и этот день.

День следующий был для ученого днем неожиданности. Среди утренней почты оказалось письмо такого содержания:

«Когда неподдельное, ничем не омраченное искание происходит при неполном освещении — недостающий луч света блеснет. Когда глаза окрепли настолько, чтобы видеть ясно—повязка должна быть снята.

Когда колос созрел — за ним приходит жнец.

С начала будущей недели Вы предполагаете заняться наблюдениями над звездой, называемой “Mira”.

Чтобы слово писанное стало Словом Живым, чтобы помочь Вам рушить преграду, перед которой Вы остановились, я помещаю ниже график флюктуаций яркости упомянутой звезды на период, избранный Вами для наблюдений.

Вам известно, что ближайший предельный максимум яркости ожидается, на основании прежних наблюдений, лишь в 1957 году.

Я утверждаю, что это неверно. Ровно через неделю Вы будете свидетелем этого maximum'a; с точки зрения Вашей, это будет необычайная, беспримерная иррегулярность, но, как видите, я имею возможность ее предсказать.

Вам, конечно, желательно знать, почему я имею эту возможность.

Извольте:

зрение духовное сильнее оптических инструментов, а знание безотносительное никогда не будет достигнуто средствами одного только разума.

М.»

Прочтя это письмо, астроном впал в раздумье.

Оно могло быть и невинной мистификацией кого-нибудь из коллег, но в таком случае тон письма едва ли был бы столь патетичным.

Затем возможно, что кто-нибудь, претендующий на ясновидение, пожелал продемонстрировать свою своеобразную мощь и повлиять на его мировоззрение.

Однако внутренний голос подсказывал ученому, что вряд ли это так.

Наиболее вероятным оказывалось третье, с обычной точки зрения наименее вероятное предположение, что здесь имело место участие одного из тех легендарных существ, время от времени вмешивающихся в ход мирового процесса и протягивающих порою свои благоденственные руки отдельным людям.

Что же, момент был выбран удачно.

Он, в глубине сердца, переживал не одно сомнение. Вся сумма его позитивных знаний, пусть непрерывно накапливаемых, не могла заполнить пропасти относительного и он мечтал о могучих взмахх духовными крыльями, которые бы дали перспективы, недоступные взору прикрепивших себя к земному, материальному.

Но долгие годы пребывания в столетиями укрепленном замке материализма наложили свою печать и действительно ему, чтобы уверовать в возможность достижений непосредственно духовным путем, необходимо было позитивное доказательство такой возможности.

Он, с некоторых пор сторонник гомеопатии, внутренне улыбнулся; ее принцип «*similia similibus curantur*» — «подобное излечивается подобным» — находил приложение и в данном случае.

Не без волнения стал ждать он результатов своих наблюдений над звездой.

Все предсказанное исполнилось в точности.

Внезапный, изумительный, не оправдываемый никакими осязательными причинами скачок в яркости звезды состоялся и вызвал чрезвычайное удивление среди ученого мира,

Высказывались различные предположения, делались попытки теоретического обоснования явления, но безрезультатно.

«Mira» еще раз дала подтверждение своей загадочности.

Она сделала еще одно — в душе нашего астронома воцарилось немалое смятение. Переменился угол зрения, блеснули новые возможности, многое из старого должно было быть отмечено; словом, предстояла большая внутренняя перестройка.

Занятый этим делом, он спокойно и бесшумно перешел в лагерь испытующих природу не одними только материальными средствами.

## СТАРЫЕ СЧЕТЫ

Знакомство Джонатана Миггса и Джона Стэнли состоялось еще на школьной скамье.

В дальнейшем их жизнь сложилась таким образом, что завязанное на заре юности содружество уже не нарушалось.

Они одновременно вышли из школы, вместе пережили короткую у них пору юношеских мечтаний, вместе ее похоронили и, идя нога в ногу, превратились мало-помалу в заурядных загребателей долларов.

Замечено, что это занятие мало способствует развитию в людях тех качеств, которые почитаются за лучшие в человеческой природе. Поэтому позволительно будет, оценивая моральные достоинства Джонатана Миггса и Джона Стэнли, ограничиться кратким указанием, что они ничем не отличались от других подобных им искателей наживы.

Правило ничем не брезговать, лишь бы деньги плыли в карманы, свято соблюдалось компаньонами и весьма облегчило достижение ими материального благосостояния.

Перебрасываясь от одной отрасли коммерческой деятельности к другой, они, наконец, прочно осели в Сан-Франциско, основав там контору.

Но, как раз ко времени расцвета их совместной деятельности, когда предприятие, уже пережив начальный критический период, окрепло и начало приносить постоянный значительный доход, — как раз тогда взаимная гармония, царившая между Миггсом и Стэнли, все чаще и чаще стала нарушаться.

Тут не было места разногласиям на почве коммерческих взаимоотношений, совсем нет; компаньоны, разграничив поле деятельности, не сталкивались; затем, Мигтс и Стэнли взаимно ценили друг друга как дельцов.

Но, как это ни странно, между ними вспыхнула, по-видимому, ни на чем не основанная антипатия. Неприязнь, отвращение друг к другу в короткий промежуток времени выросли до таких размеров, что взаимное сотрудничество становилось уже невозможным.

И вот в один из дней между бывшими приятелями произошел следующий разговор. Начал Стэнли.

— Мигтс, — сказал он, — пора нам расстаться, иначе я не ручаюсь за себя.

— Ты прав, — ответил Мигтс, — убирайся на все четыре стороны и делу конец.

Произошел раздел. Мигтс остался владельцем конторы. Стэнли получил свою часть наличными.

Однако пламя разгоревшейся вражды вместо того, чтобы погаснуть после произведенного раздела, вспыхнуло еще ярче.

Стэнли, погрузившийся в биржевые спекуляции, не смог удержаться, чтобы сильно не повредить интересам Мигтса, когда представился удобный случай.

В свою очередь, этот последний не поколебался взять из своего предприятия часть капитала, чтобы нанести, в критический для операций Стэнли момент, чувствительный удар.

Ожесточенная молчаливая борьба продолжалась.

Но всему бывает конец.

Однажды, в довольно поздний час, когда в конторах уже прекращаются занятия, Стэнли пожаловал в деловой кабинет еще занимавшегося Мигтса.

Во время происшедшего, крайне резкого обмена мнений Мигтс, потрясая кулаками перед лицом Стэн-

ли, первый применил угрозы.

Стэнли не выдержал и нанес удар Мигтсу.

В опустевшей конторе началась дикая свалка.

Бившая через край ярость противников разгулялась вовсю. По счастью, оружие не могло быть употреблено, так как револьвер Мигтса лежал в ящике его письменного стола, а Стэнли, в первый же момент схватки, выронил свой из кармана и он остался лежать на полу кабинета, откуда и Мигтс и Стэнли буквально выкатились в пылу борьбы.

Силы противников оказались равными и наступил момент, когда окровавленные, страшные своим видом, они в полном изнеможении разошлись по разным углам конторы.

Многое сложилось на то, чтобы следствием безобразной сцены явилось событие, исполненное внутренней красоты.

Наступивший перерыв должен был заставить противников призадуматься; далее, физическое обессиление, охватившее обоих, сыграло свою роль; налет цивилизации, которого ведь не лишены были ни Мигтс, ни Стэнли, оказал свое действие; наконец, тень прежнего долголетнего содружества встала между ними; но решающим было просветление — иначе я этого назвать не могу — снизошедшее на Стэнли.

И развязка оказалось иной, чем можно было предполагать.

Первым заговорил Стэнли.

— Мигтс, я торжественно предлагаю тебе покончить эти старые счета; я уже покончил с ними и, если мое пребывание в Сан-Франциско тебе не нравится, я без промедления перебираюсь на Север.

Не пойми меня ложно; не боязнь дальнейших столкновений руководить мною, нет, а попросту я их бесповоротно не желаю.

Сейчас, минуту тому назад, я понял, что какая-то чертовщина впуталась в наши взаимоотношения и как ни верти, а выходит, что наша вражда, должно быть, более давняя, чем мы с тобой предполагаем.

Взвесь все как деловой человек, и ты признаешь, что я прав.

До самого последнего времени, которое ведь не в счет, нам не в чем была упрекнуть друг друга.

Так в чем же дело?!

Я нахожу единственное объяснение в том, что, должно быть, когда-нибудь, за темной завесой прошлого, мы столкнулись с тобой основательно и теперь нам предлагают опять обломать друг другу рога.

Я кое-что слышал об этих вещах.

Но ведь нам нет решительно никакого расчета заниматься этим делом.

Я предлагаю, в качестве первых шагов к возврату прежних добрых отношений. выкинуть всю эту накипь из головы, затем помочь друг другу привести себя в человеческий вид, убрать контору и выйти прогуляться на воздух. Кстати, сегодня отличная погода.

Миггс задумчиво посмотрел на Стэнли, затем несколько угрюмо улыбнулся и принял предложенную программу без оговорок.

А в извечной книге людских деяний графа личных счетов Джонатана Миггса и Джона Стэнли в тот же час оказалась перечеркнутой крестообразно.

## ОТОЗВАНИЕ ПРОФЕСОРА ВАЛОРИ

Вы признаете, что все совершающееся имеет свои причины и что, кроме того, все, что ни происходит, имеет какую-нибудь цель? Да? Ну и отлично, и мы с вами мыслим одинаково, читатель. Но ведь дело-то в том, что поскольку на первый вопрос решительно все ответят утвердительно, то по отношению к другому обнаружится разногласие.

Одни займут скептическую позицию, другие отошлют вас к философам, третьи... но Бог с ними, с этими третьими, четвертыми.

Важно то, что мы с вами смотрим на вещи одними глазами.

А теперь к делу.

Все согласятся, что бывают, по-видимому, совершенно необъяснимые поступки, внутренний смысл которых не поддается поверхностному анализу и перед которыми бессильна повседневная логика.

В этих случаях говорят о безумии, сумасшествии, то есть определяют таким способом непонятную причину, отвечают, хотя и туманно, на вопрос — почему? но не составляют, однако, себе труда спросить — зачем, для чего?

Непонятно — поступок сумасшедшего, ну и дело с концом.

А выходит-то дело «без конца».

Как раз по этой схеме объяснило себе громадное большинство смерть Джиованни Валори, еще довольно молодого, но уже блестяще зарекомендовавшего себя профессора философии.

Богато одаренный от природы духовно и физически, независимый материально, аристократ по рождению, снискавший себе, кроме того, уже громкое имя в ученом мире, Джиованни Валори, должен был, казалось, с улыбкой на устах пройти свой жизненный путь.

Но не угодно ли, какую штуку выкинул этот баловень судьбы!

Дело происходило в Нерви, в том милом тропическом уголку подле Генуи, в апреле, когда главная волна туристов уже отхлынула, а южная природа, улыбаясь им в спину, только что развернулась во всей своей прелести

Валори прогуливался по узкой, составляющей променад Нерви полоске земли между надвинувшимися горами и синеющим Средиземным морем.

Променад этот значительно возвышается над уровнем моря и почти на всем своем протяжении обрывист.

Несколько лиц, находившихся на том же небольшом пространстве, увидели, как профессор стремительно повернулся лицом к морю, вытянул перед собой руки, твердой поступью сделал те несколько шагов, которые отделяли его от обрыва и, как бы продолжая идти, шагнул затем уже в воздух.

Из среды видевших эту сцену вырвался крик ужаса; но сам профессор не издал ни звука, пока падал и когда упал, ударяясь головой о выступ скалы. Высота падения была не особенно значительна и, если бы не это последнее обстоятельство — удар виском о камень — прыжок, возможно, и не был бы смертелен.

Происшествие вызвало сенсацию.

Кое-кто из родных искренно опечалился; ученый мир выразил соболезнование; газеты получили лишнюю порцию материала; люди поговорили и все понемногу затхло, поволоклось волной новых событий, которые неустанно выбрасывает океан жизни.

Валори оставил все свои дела в полном порядке и, как ни доискивались причин его смерти, самоубийства, вернее, ничего подходящего не оказалось.

Пришлось, за неимением лучшего, отнести этот необъяснимый поступок к следствиям внезапного умопомешательства.

Но, право же, это забавно! Здоровый, свободный во всех отношениях от каких бы то ни было забот, тревог, опасностей профессор, еще чуть ли не вчера с изумительной четкостью излагавший свои мысли на кафедре, вдруг взбеленился и ни с того, ни с сего прыгнул в бездну, прыгнул неведомо зачем.

Горячий защитник в своих метафизических умозаключениях целесообразности всего совершающегося совершает сам величайшую, по-видимому, нецелесообразность!

Вы чувствуете, что здесь что-то неладно и бессилие обычной попытки заткнуть зияющую логическую дыру ссылкой на внезапный припадок умопомешательства очевидно, особенно для нас, согласившихся, что все происходящее не только причинно, но и целесообразно.

Я имею возможность пролить некоторый свет на это столь загадочное происшествие.

Мне довелось завязать близкое знакомство, перешедшее затем в дружбу, с лицом, хорошо знавшим покойного Валори и более других посвященным в его интимную жизнь.

Свежесть происшедшего заставляет меня назвать моего друга вымышленным именем; окрестим его хотя бы просто — Паоло. Однажды, в дружеской беседе на тему о некоей предопределенности, тяготеющей над людьми, Паоло рассказал мне многое, уяснившее истинное положение вещей.

Оказалось, что Валори действительно был незаурядным человеком.

Его преданность любимой философской области познания была изумительной; эта возвышенная страсть была у Валори единственной и целиком поглощала его. Он не разменивался на мелочи жизни и, кто знает, может быть, из него выработался бы один из тех людей, мысли которых являются путеводными для многих поколений.

Но случилось иначе — профессор Джиованни Валори изменил своей до сих пор единственной возлюбленной.

Страсть духовного происхождения была побеждена страстью плотской.

Простая малоинтеллигентная девушка, рядовая певица в посредственном театре, овладела, в полном значении этого слова, воображением профессора; ее физические данные — ничто более — таили в себе для Валори неодолимую притягательность.

Он стал бороться с этой захлестнувшей его волной плотского вожделения, но боролся слишком вяло, далеко не с тем напряжением, на которое был способен.

Валори забросил свои занятия и, хотя и продолжал чтение лекций, но уже без прежнего воодушевления.

Однако сближение между Валори и певицей не получило развития; случилось так, что она вскоре заболела и умерла.

Смерть ее сильно подействовала на Валори, но с течением времени впечатление начало, по-видимому, сглаживаться.

Хотя все же можно было подметить, что мало-помалу он стал превращаться в заурядного профессора, лишь отстукивающего положенное его званию.

Со всем тем, Валори до последнего дня был вполне нормальным человеком, только, как говорится, стал

обыденнее; волочил крылья своего духа по земле — так закончил рассказ Паоло.

Мы несколько помолчали.

Затем я задал такой вопрос:

— Все, что вы рассказали, Паоло, внесло много нового, но ведь это только фон действия; я бы хотел знать, как вы истолковываете само происшествие.

— Довольно своеобразно, но вы не чужды моего образа мыслей и вам мое объяснение не покажется странным.

Видите ли, Джиованни Валори пришел в этот мир с данными стать одним из его духовных вождей; между прочим, ему суждено было обрести исключительно благоприятную обстановку деятельности.

Он довольно продолжительное время шел твердо по как бы предугазанному пути, но затем вдруг позволил себе на резкий скачок в сторону; он, которого духовные очи созерцали горизонты необычной широты.

Валори, умевший ценить все по достоинству, однако, не сделал должного усилия, чтобы вытянуть свои увязающие ноги из тины материального. Он, до сих пор совершенный инструмент, допустил, чтобы одна из струн низшего порядка энгармонически и слишком громко зазвучала.

Ему было много дано, много и спрашивалось. Не наказуемое для рядового смертного становилось преступным в таком, как Джиованни Валори, человеке.

Его отозвали, отозвали, поманив образом пленившей его женщины, вот и все, мой милый, — вдруг оборвал свои пояснения Паоло.

Я с ним молчаливо согласился.

## GYPRIPEDIUM CALCEOLUS

Не у каждого и не во всякое время найдется достаточно денег, чтобы купить даже совершенно необходимое. Это истина печальная, но неоспоримая.

Затем можно быть астрологом и считать, что занимаешься делом. Это ведь допустимо.

Сверх того, астролог, убежденный в ценности своего знания и не употребляющий его всуе, не должен быть почитаем за шарлатана. Не правда ли?

Все вышесказанное должно быть целиком отнесено к Якову Вадовскому, одинокому холостяку, 31 года от роду, всепреданнейшему слуге астрологии.

Он глубоко верил в основоположения этой науки звезд и полагался на ее выводы.

Она же была и его кормилицей, так как единственным заработком Вадовского было то, что он получал за составляемые им, по просьбе тех или иных лиц, гороскопы.

Эти поступления были очень невелики и нерегулярны. Впрочем, оберегая свое время для занятий астрологией, других заработков Вадовский и не искал.

Поэтому неудивительно, что, когда пришла необходимость приобрести зимнее или, по крайней мере, теплое осеннее пальто, нужной на это суммы у Вадовского не оказалось.

Сделав несколько экстренных займов у своих немногочисленных друзей, кстати сказать, таких же крезов как и он сам, Вадовский собрал сумму, которая позволяла купить лишь подержанное пальто.

Морозы донимали, раздумывать было нечего и наш астролог стал владельцем довольно поношенного, но

достаточно теплого осеннего пальто.

Он не был в восторге от этой покупки; она нарушала оккультный принцип избегать вещей с чужого плеча. Но, должно быть, в изъятие из правила это подержанное пальто сослужило Вадовскому хорошую службу.

Рассеянный во всем, что не касалось астрологии, Вадовский примерно только недели через две заметил, что на внутреннем кармане пальто был изящно вышит какой то цветок.

Многие вышивают на подкладке свои инициалы, в данном же случае какой-то оригинал пожелал, надо думать, для разнообразия, чтобы был вышит цветок.

Внимание Вадовского к вышивке оказалось прикованным по особому поводу — его заставила сильно призадуматься форма цветка; она напоминала череп, под которым расположились крестообразно четыре лепестка в виде костей; получалась так называемая Адамова голова — символ смерти.

Вадовский имел достаточно оснований, чтобы взволноваться при виде этого «*memento mori*».

Вполне понятно, что им был разработан и выполнен с возможной тщательностью собственный гороскоп. И данный год, 32-й его жизни, обозначился в гороскопе как год смертельной для него, Якова Вадовского, опасности, которая, в зависимости от соотношения некоторых причин, могла либо привести к гибели, либо миновать бесследно.

Вадовский в наличии этого вышитого знака на приобретенном случайно пальто, знака бренности всего физически существующего, усмотрел напоминание, что опасность, указываемая гороскопом, близка.

Когда затем, порывшись в своей, естественника по образованию, памяти, он определил, что цветок был из семейства Орхидных, а именно *Cypripedium calceo-*

lus, иногда называемый Венериным башмачком, — ему ясно представилась связь между его гороскопом, изображенным цветком и характером грядущей опасности.

Все данные складывались необычайно стройно.

Соотношение планет и знаков в домах гороскопа было таково, что угрожавшая Вадовскому опасность находилась в связи с какой-то любовной историей, а изображенное растение не только предвещало опасность, но и указывало, одним из своих названий, именно на этот источник опасности.

Несколько жутко стало Вадовскому.

Как ни был он убежден в правильности и трудной отвратимости предсказываемого звездами, все же ему хотелось найти какое-нибудь основание для сомнений.

Оно нашлось; ведь он, Вадовский, уже не первый год сторонился женщин и был за сто верст от какой бы то ни было любовной интриги.

Однако он насторожился.

И хорошо сделал, так как звезды не солгали и гороскоп не обманул своего составителя.

Опасность пришла неожиданно-негаданно.

Вадовский был в театре. В последнем антракте он вышел в фойе, переполненное публикой. Вдруг, несмотря на царивший шумный говор, резкой нотой прозвучал и заставил умолкнуть всех женский вопль: — Спасите, спасите, он меня убьет! Еще мгновение и какая-то очень красивая дама, протискиваясь среди массы находившихся в фойе, к выходу, очутилась лицом к лицу с Вадовским.

Он находился неподалеку от выхода, где как раз была наибольшая давка.

Какой-то внутренний голос подсказал Вадовскому, что опасность подступила именно теперь, что она совсем близко — у порога. Он энергично шарахнулся сна-

чала назад, затем в сторону от дамы, давая и прочищая этим несколько дорогу для нее.

Эти его движения были более чем своевременны, ибо вслед за ними раздался револьверный выстрел и пуля, слегка задев мятущуюся женщину, ранила, как оказалось вскоре, смертельно, бывшего в ту минуту подле нее на линии выстрела какого-то пожилого господина.

Убийца, пожелавший дописать последнюю драматическую страницу своего романа в фойе театра, не пытался ни скрыться, ни сопротивляться и был без труда обезоружен присутствующими.

Как и многие из свидетелей происшедшего, Вадовский, когда миновало первое тягостное впечатление, произведенное виденным, облегченно вздохнул — пуля сразила кого то другого!

Он вышел из театра.

Смесь различных чувств овладела им. Здесь была и тень ужаса перед некоторой предопределенностью судьбы людей; была радость избавления от смертельной опасности, избавления не только на этот раз, но и вообще, ибо гороскоп его указывал лишь на один случай таковой; наконец, радость эта усиливалась сознанием, что постулаты его верований нашли еще одно веское подтверждение.

Возвратясь домой, Вадовский закончил этот день своей жизни тем, что, добыв у хозяйки квартиры иголку и несколько шелковых нитей, заключил вещь вышивку в пентаграмму, символизирующую власть, хотя и не безоговорочную, но все же власть сильного знанием человека над велениями рока.

## СМЕРТЬ КОРОЛЯ ФИЛИППА КРАСИВОГО

Король Филипп Красивый умер в 1308 году. Его смерть была из числа тех, который принято называть «безвременными кончинами».

Да будет мне позволено осветить этот факт с редко затрагиваемой стороны и указать также на не совсем обычные сопутствующие обстоятельства.

Примерно за полгода до своей смерти король Филипп утратил способность покойного сна, ему пришлось расстаться с этим, столь необходимым для организма, погружением в сонное полунебытие.

Ночи короля Филиппа стали тревожны; его беспокоили призраки, особенно один — известного лично ему рыцаря Вольфрама де Вишлинга.

Не помогало ничто; ночные гости являлись с перерывами, но неизменно.

Особенно удивило короля, что рыцарь де Вишлинг оказался здравствующим, только никак, несмотря на строжайший приказ, не мог быть разыскан.

Нашему пониманию доступно то, чего не мог себе уяснить король Филипп.

Приглядимся же, кем был рыцарь де Вишлинг, что делал и какую роль сыграл он в этих, связанных со смертью короля Филиппа Красивого и давно уже минувших событиях.

Вольфрам де Вишлинг, один из командоров ордена Тамплиеров, был единственным из видных членов братства Рыцарей Храма, присутствовавшим, в качестве зрителя, при сожжении на костре гроссмейстера ордена Якова Моле и его ближайших сотрудников, обвиненных церковной и светской властью в занятиях

черной магией, в святотатственном поклонении Бафомету, олицетворявшему якобы собою Сатану, и во многих других преступлениях.

Тогда же, а это было 13 октября 1307 года, де Вишлинг впервые услышал из уст уже охваченного пламенем костра гроссмейстера Моле формулу порицания виновникам трагического происшествия, папе Клименту V и королю Филиппу Красивому; порицание это сопровождалось призывом их на Суд Божий — первого не позже 50 дней, а второго в течение годичного срока.

Де Вишлинг содрогнулся, когда замолк суровый голос гроссмейстера, — он знал все могущество этой формулы, представлявшей собою третью, наивысшую степень магического осуждения; ему известна была неотвратимость ее следствий.

Прямо с места казни де Вишлинг поспешил в один из приоратов Рыцарей Храма, чтобы дать отчет о происшедшем и присутствовать на решительном совещании оставшихся в живых виднейших рыцарей ордена. Подобные совещания были делом необычным для Тамплиеров. Строгая иерархичность, сопутствуемая неуклонным применением принципа централизации, регулировала внутреннюю жизнь ордена до мелочей.

Но теперь все смешалось. Жестокий удар, нанесенный Тамплиерам, требовал принятия срочных мер; нужно было восстановить нарушенную иерархическую связь, выработать директивы для ближайшего будущего и вообще призадуматься над этим будущим, так как ясно было, что враги ордена не замедлят с нанесением окончательного удара.

Он не был слаб, этот орден, и его сопротивление могло стать грозным.

Рыцари Храма владели ключами от многих источников земного могущества, а зажженные силою их

духа факелы не погасли во человечестве и по днесь. Загляните к эпигонам Розенкрейцерства, проникните поглубже в ложи Вольных Каменщиков, — там и здесь без труда откроются следы Тамплиеровской Традиции.

Высоко парила мысль Храмовников. Вспомним хотя бы одно: ничем не ограниченный в своих действиях, гроссмейстер ордена обязан был, однако, сообразовать свои поступки с девизом Тамплиеров — «Милосердие и Знание».

Девиз этот обязывал к одному и запрещал другое. Ясно, что различны между собою обычные мирские пути и пути сознательного милосердия и что не все приемы борьбы были дозволены Рыцарям Храма.

Стрельчатые башни этого Храма уходили шпицами в небо.

Собирая богатства, увеличивая площадь своих поместий, орден, в конечном счете, почитал все это лишь за опорные точки достижения целей высоких, сводившихся к осуществлению благоденствия всего человечества.

Однако небывалый расцвет ордена должен был натолкнуться и натолкнулся на препятствия.

Становясь в лоне Церкви государством в государстве, идя зачастую вразрез с намерениями Святейшего Престола, Тамплиеры возбудили тревогу и могущественный церковный аппарат, во главе с папой Климентом V, наложил на орден свою тяжелую руку, а чисто светские побуждения и желание поживиться за счет богатств Тамплиеров подвинули короля Филиппа Красивого к враждебным ордену действиям.

Но вернемся к де Вишлингу.

Он вполне благополучно прибыл к месту назначения.

Спустившись в подземную, известную только рыцарям, залу приората, де Вишлинг застал в ней несколько десятков Тамплиеров, прибывших с разных сторон. Здесь были представители всех «Языков» — так называлась у Храмовников высшая категория подразделения Ордена. Но все же не хватало многих из числа наиболее влиятельных членов ордена, оставалось пустым и кресло гроссмейстера.

На данный знак престарелого, уже не занимавшего никаких административных должностей в ордене, но всеми почитаемого рыцаря Рауля дю Плесси присутствующие встали с своих мест и выстроились полукругом у подножия возвышения, на котором стояло кресло гроссмейстера.

Дю Плесси, всегдашний советник и личный друг казненного Моле, избежавший одинаковой с ним участи лишь благодаря своему более чем преклонному возрасту, положил руку на спинку кресла гроссмейстера и старческим, но все же внятным голосом произнес:

— Наш достойный брат, Якобус Бургундус Моле, вместе с некоторыми другими чтимыми братьями покинул нас; брат Вольфрам де Вишлинг — свидетель их земной кончины — расскажет нам, что видел и сообщит последнюю волю благоговеющей памяти брата Моле.

Де Вишлинг кратко, но выпукло описал картину виденного; трагичность происшедшего говорила сама за себя. Когда, заканчивая доклад, он произнес слово в слово за казненным гроссмейстером формулу порицания и призыв на Суд Божий, — трепет пробежал по собранию.

Несколько времени длилось угрюмое молчание, затем опять раздался голос дю Плесси:

— Братья! Мы выслушали печальную повесть. Пусть Милосердие прострет свои крылья над преступивши-

ми границы власти.

Удар, нам нанесенный, не поколеблет Храма Мира; месть нам не нужна, мы знаем это; но брат Моле бросил на чаши весов, на чаши извечно колеблющиеся, зерна осуждения. Он мог и вправе был это сделать.

Колесо причинностей завертелось, следствия наступят без нашего участия, но Рыцари Храма позаботятся, чтобы последняя воля их гроссмейстера врезалась в память виновных.

Глухой, одобрительный ропот был ответом на слова дю Плесси. Он продолжал далее, обращаясь уже исключительно к де Вишлингу:

— Брат Вольфрам де Вишлинг! Ты принял из уст гроссмейстера его завещание и ты будешь следить за его выполнением.

Забудь обо всем прочем, покинь сейчас же нас и помни только об одном — о короле Филиппе.

Де Вишлинг вышел и ему осталось неизвестным, что происходило далее в собрании.

Подумав над тем, почему именно ему был указан король Филипп, он пришел к заключению, что здесь сыграло роль его довольно близкое знакомство с королем.

Поручение, данное де Вишлингу, не поставило его в затруднительное положение, он знал, что и как надо исполнить.

Подобно весьма значительному числу Тамплиеров, де Вишлинг тренировался сам и под руководством более посвященных в направлении развития скрытых способностей человеческой природы.

Его исключительная в этом смысле одаренность была замечена теми из братьев, которые специально заботились о сохранении и развитии знаний, преемственно полученных от древних посвященных центров и культивируемых Тамплиерами самостоятельно.

В описываемую нами эпоху не было другого сообщества людей, где бы уровень эзотерического знания был так высок, как в ордене Тамплиеров. Таким образом, де Вишлинг был в указанном смысле поставлен в наиболее благоприятные условия.

Покинув приорат, рыцарь отправился в свое командорство. Прибыв на место, он передал административные заботы заместителю и, не медля, выехал в один уединенный и малоизвестный замок, принадлежавший Тамплиерам, специально приспособленный таковыми для занятий магией и вообще для практической разработки эзотерического знания.

Там де Вишлинг приступил к соответственной его заданию подготовке.

Это был особый режим адепта, поставившего себе целью выделение своего астрального призрака — экстериоризацию.

По истечении сорока дней, которых требовала подготовка, де Вишлинг приступил к исполнению своей миссии при короле Филиппе.

Первые посещения были простыми появлениями, сопровождавшимися лишь нарушением порядка в спальне короля; кроме того, призрак подергиваньем за волосы, хлопками неизменно будил последнего.

Следующие посещения усложнились тем, что призрак появлялся в одежде и с эмблемами Тамплиеров.

А тем временем совершался таинственный процесс сокращения срока пребывания на земле короля Филиппа и, наконец, де Вишлинг смог покинуть свой наблюдательный пост, так как король скончался.

История отметила, что оба виновника насильственной смерти гроссмейстера и целого ряда Тамплиеров, составлявших цвет ордена, предстали на «Суд Божий» даже ранее сроков, указанных Моле.

## ПОСЛЕ БУРИ

Судьба, этот трудночитываемый фактор, обошлась с ним сурово.

Да, одна только судьба; во всех несчастных происшествиях, разразившихся над его бедной головой, он был совершенно пассивным.

Жестокие удары следовали один за другим, как удары молнии во время тропической бури.

Ему оставалось лишь считать причиненные потери. О, как тягостны были они; померкло солнце его жизни и сама жизнь утратила всякую привлекательность.

Бараев разделил печальную судьбу многих, захлестнутых событиями мировой войны и тем, что впоследствии разыгралось в России; кроме того, чаша, которую ему пришлось испытать, была по горечи не из последних.

Человек уже зрелых лет, как говорится, перебродивший, очень состоятельный, со счастливо сложившимися семейными условиями, он с легкостью мог пойти по линии своей наибольшей склонности и посвятить свое время любимым изысканиям в области средневековой графики и литературных памятников, главным образом, из эпохи раннего итальянского Ренессанса. Впоследствии он собирался издать начатый им солидный труд, посвященный этому предмету, а пока что он тратил значительные суммы на подбор необходимых материалов и на коллекционирование.

В связи с этим, Бараев регулярно проводил несколько месяцев в году за границей, обычно в Италии, иногда с семьей, состоявшей из жены, сына — уже взро-

слобо юноши — и четырнадцатилетней дочери.

Война застала его одного в Венеции.

Он поспешил к семье, в Россию, куда уже можно было попасть не без затруднений.

В эту свою поездку за границу он как раз приобрел особенно много из числа его интересовавшего.

Большой багаж, притом столь особенный по составу, где латинская речь преобладала, где нашлось бы много подозрительного с точки зрения невежественных в общем пограничных властей, — причинил бы затруднения всякого рода; и Бараеву пришлось оставить свои приобретения на сохранение, до лучших времен, у одного из венецианских друзей.

Увы! Наступили времена худшие.

Сын Бараева был призван. Миновал короткий срок обучения в военном училище; прошли два месяца службы в тылу; затем некоторое время в действующей армии и смерть включила юношу в списки своих батальонов.

Это был первый тяжелый удар, обрушившийся на Бараева.

Время шло; то летело головокружительно быстро, то тянулось неимоверно долго — смотря по роду развивавшихся событий.

Наступила и всероссийская встряска.

Стоявший в общем в стороне от совершавшегося, гораздо более мыслитель, чем активный деятель, Бараев, однако, не избег второго, уже сокрушающего удара.

Он лишился семьи; жена и дочь его погибли совершенно случайно в суматохе всколыхнувшихся диких страстей.

В скором времени растаяло и его состояние от общего обесценения и как, в значительной степени, депонированное в банках.

Чаша жизни, наполненная по края тягчайшей горечью, придвинулась вплотную к его устам.

Собрав, что было возможно, он поспешил покинуть Россию; бежал от грызущей тоски, его охватившей.

С большими затруднениями и очень нескоро добрался Бараев до Венеции, ведомый скорее воспоминаниями, связанными с этим любимым им городом, чем сознанием, что там сохранились жалкие остатки его состояния в приобретенных им перед войной художественных и литературных ценностях.

Они оказались в сохранности и Бараев получил их в свое распоряжение.

Реализуя понемногу, продавая вещь за вещь, он влачил жалкое во всех смыслах существование.

Чувство далеко идущего крушения вытеснило в нем все остальное и какая-то внутренняя пустота овладела этим человеком.

Жизнь в Венеции особенно дорога и он перебрался в один из небольших итальянских городков. Это не разрешало вопроса, так как средства его подходили к концу, но все же что-нибудь следовало предпринять, чтобы оттянуть, по крайней мере, их окончательное истощение.

Понемногу время начинало налагать кое-какие пластыри на его раны, а отличавшее Бараева в предшествующий период стройное мировоззрение пришло со своей посильной помощью.

На личное горе, на горе его родины оно набросило пелену необходимости. Свершилось — значит, соотношение всех факторов было таково, что происшедшее становилось неотвратимым.

Но ведь из каждого дня настоящего можно вить венки будущего и пусть могущество прошлого велико, но оно в меру усилий преодолимо.

Воля, доведенная качественно и количественно до границ предельного напряжения, властна умалить влияние прошлого до полного его исчезновения.

Невозможно стереть лишь факты прошедшего, но его наследие в распоряжении наследников.

Так рассуждал Бараев в один из первых часов пробуждения от долго владевшей им прострации.

Но почему же должен был он претерпеть гибель своей семьи; пусть сын — те годы уложили цвет юности в землю — но жена, дочь?

Сколько раз этот вопрос возникал в его мозгу.

Приходилось, развивая логически путеводные нити своего образа мышления, признать, что и здесь не было места случайности.

Если брать вещи абсолютно, то его жена и дети были устранены с земной арены по причинам, ему неизвестным; но если рассматривать этот факт, а равно и потерю им состояния, возможности вести любимую работу, словом, всего бывшего уюта, всей гармонично приятной атмосферы минувшего периода его существования, если брать все это по отношению собственно к нему — возникала уверенность, что эти бедствия не слепо обрушились на него, а были, с известной точки зрения, необходимы.

Так не в том ли разгадка, что для него картина мира и всего совершающегося была иной, чем для подавляющего большинства современников, что, будучи зрячим, он вел себя как слепой?

Что делал он, ответственный, по степени сознания, работник? Лишь беспечно срывал цветы удовольствия; брал, умело выбирая, из сада жизни, скупой на приношения с своей стороны.

И от него — ленивого раба — было отобрано все, что благоприятствовало развитию манкируемой им деятельности, а сам он стал жертвой ряда ударов судьбы.

Придя к такому заключению в этот час раздумья — исповеди перед самим собою — Бараев весь вострепел; его подлинная сущность рванулась из темницы личных переживаний; и он твердой рукой поставил паруса для иного, чем в минувшие годы, плаванья.

В этом расшатанном физически и нищем человеке вспыхнул ярко уже почти угасавший огонек лампы, наполненной елеем вселенной.

И в него вступила непоколебимая уверенность, что лишь бы он твердо шествовал по избранному пути, а остальное приложится само собою.

Я склонен думать, что он не ошибся.

## Комментарии

Биографические сведения о Георгии Георгиевиче Брице, писавшем под псевдонимом *Sagittarius* (Стрелец), практически отсутствуют. Вероятно, можно идентифицировать его как одноименного коллежского регистратора из дворян Г. Г. Брица, который на момент революции жил в Петрограде на Пушкинской ул. и состоял во «Временной ревизионной комиссии в г. Петрограде для проверки отчетности в военных расходах, вызванных войной 1914 г.». Известно, что в эмиграции он был сотрудником газеты «Двинский голос», опубликовал приведенный здесь сборник «У приоткрытой двери: Оккультные рассказы» (Двинск, 1925), а также романы «Chevalier и любовь» и «Адамов мост» (оба вышли в Риге без указания года издания, очевидно, в 1920-е годы). Последний роман, небольшое, но насыщенное теософское повествование «с ключом», был впервые переиздан нашим издательством в 2016 г.

Рассказы из сборника «У приоткрытой двери», как и этот роман, вполне дают представление о писательском методе Брица: полное подчинение фабулы задаче создания своеобразной «оккультной притчи», почти такое же полное равнодушие к традиционной описательности и в целом внешним впечатлениям, не затрагивающим духовную жизнь персонажей. В последнем из них, где герой, русский эмигрант, испытавший многие превратности судьбы, примиряется с их высшей необходимостью и возвращается к духовной работе адепта, ощутима и автобиографическая нотка.

Значение приведенного в книге перед текстом символа не прояснено; возможно, это стилизованное изображение Тау (по Е. П. Блаватской, знак, который «принадлежал и теперь принадлежит исключительно Адептам каждой страны», в ряде ветвей современного автору масонства – символ спасения от смерти и вечной жизни; в связи с рассказом «Смерть короля Филиппа Красивого» отметим, что почитание символа Тау некоторые авторы приписывали и тамплиерам). Возможно также, что фигура призвана изобразить масонское каменщицкое долото – символ самосовершенствования, обработки «дикого камня» личности; так или иначе, сферы толкований здесь в достаточной мере совпадают.

Текст книги публикуется по первоизданию (Двинск: Изд. автора, 1925) с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации; имена и топонимы остав-

лены без изменений Издательство приносит глубокую благодарность А. Степанову, способствовавшему возвращению этой книги читателям.

С. 15. *...печатная пропаганда оккультизма, предпринятая преимущественно французскими последователями Розенкрейцерства* – Речь идет о т. наз. «оккультном возрождении» второй половины XIX – начала XX в., для которого (особенно, но и не только во Франции) была характерна чрезвычайная хвастливість и литературная плодовитость многих «адептов».

С. 16. *...опыт энвольтования* – В расхожем оккультизме начала XX в. энвольтование (от лат. *involver* – «нападать», «завладевать») – насильственное воздействие на астральное и физическое тело объекта атаки, обычно с помощью принадлежащего ему предмета, частиц тела, телесных выделений и т.п. (т. наз. «вольт»).

С. 21. *Rp.* – в медицине обозначение рецепта, чаще предшествует обозначению составляющие лекарство компонентов (сокращение от лат. *Recipe* – «возьми»).

С. 28. *...Сагунта* – Сагунт (Сагунтум) – древний город в Валенсии, осажденный и взятый Ганнибалом в начале Второй Пунической войны (218-201 д.н.э.), позднее римская колония; в настоящее время – испанский город Сагунто.

С. 31. *...разбитый физически и нравственно... портрет... стал еще свежее, жизненнее... злоеца бледность... как бы пьющие кровь поцелуи* – Материализовавшаяся Хуаннита приобретает здесь черты суккуба, пьющего жизненные силы жертвы; вместе с тем, очевидны и вампирские коннотации.

С. 34. *...в корпусе маршала Ланна при осаде и взятии наполеоновскими войсками Сарагоссы* – В декабре 1808 – феврале 1809 г. наполеоновский военачальник Жан Ланн (1769-1809) возглавлял кровопролитную осаду Сарагосы.

С. 34. *...один из героических людей Испании, носивший фамилию Паляфокс* – Имеется в виду герцог Сарагосский Хосе Ребольедо де Палафокс-и-Мельси (1755-1847), оборонявший Сарагосу от французов.

С. 35. ...находящейся в созвездии Кита одной из самых замечательных звезд неба, названной «Mira» — чудесная — Омикрон Кита, двойная пульсирующая звезда, давшая название звездному классу мириды; названа Мирой астрономом Иоганном (Яном) Гевелием (1611-1687).

С. 35. ...ее наблюдают уже более трехсот лет — Изменения яркости Миры были впервые открыты в конце XVI в. Д. Фабрициусом (1564-1617), что явилось первым открытием переменной звезды.

С. 53. Король Филипп Красивый умер в 1308 году — Ошибка автора: Филипп IV Красивый родился в 1285 и умер 29 ноября 1314 г.

С. 54 ...это было 13 октября 1307 года — На самом деле магистр ордена Тамплиеров Жак де Моле (ок. 1243/44-1314) и другие руководители ордена были казнены 18 марта 1314 г. Далее с авторскими вариациями излагается известная история о проклятии Моле.

С. 55. ...проникните глубже в ложи Вольных Каменщиков ... без откроются следы Тамплиеровской Традиции — Во второй половине XVIII в. масоны, выстраивавшие воображаемую генеалогию братства, провозгласили масонство прямым наследником ордена Тамплиеров, якобы обладавшего тайными знаниями и владевшего приемами оккультного воздействия.

С. 55. ...девизом Тамплиеров — «Милосердие и Знание» — Действительный девиз ордена Тамплиеров — «Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam» («Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу», лат.).

## Оглавление

У приоткрытой двери	8
Под знаком 18-ти	13
Рр.	21
Портрет Хуанниты Паляфокс	26
Mira	35
Старые счета	40
Отозвание профессора Валори	44
Gyrendium calceolus	49
Смерть короля Филиппа Красивого	53
После бури	59
Комментарии	64

## POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.